

**М**

ай 2006 года, подмосковная Сходня, торжественное собрание по случаю восьмидесятилетия поэта Егора Исаева. Речь держат перед юбиляром «знатные люди: политики В.И. Воротников и Г.А. Зюганов, известные литераторы, включая Ю.В. Бондарева, несколько академиков...»

От земляков-воронежцев выступает немало-го ранга чиновник — губернский министр печати. И так странно сидящим в актовом зале зрителям-участникам: чиновник, а читает... стихи! Свои. И не какие-то там лакированные поздравилки — настоящие.

А где оно, это Коршево?  
А там, где весной Битюг  
Несет ледяное крошево —  
Творение зимних вьюг.  
То ершики, то карасики  
Резвятся в волне речной.  
Девчонки играют в «классики»  
На солнышке за избой.  
Мальчишки знакомой тропкою  
Спускаются на улов...  
Даль памяти — над пригорками!  
Суд памяти — от крестов!  
Воткнув посредине улицы  
Для коз деревянный штырь,  
Весна, от света сощурившись,  
Выходит в степную ширь.  
Играйте, девчонки, в «классики»!  
Мальчишки, готовьте сеть!..  
Тут раньше рождались классики,  
А хочется, чтоб и впредь.

Иван Щёлоков



ВЕЧНЫЕ  
СТРАННИКИ

Даром что чиновник, а читает хорошо, размашисто, с чувством. И сидящий в зале поэт Михаил Шевченко, москвич с воронежскими корнями, будто призывая присутствующих разделить его эмоции, не может удержаться от восклицания: «Ваня!.. Щёлоков!»

Спустя годы «автор и исполнитель» это так понравившегося взыскательной публике стихотворения о родном селе юбиляра вспомнит: «За праздничным обедом воронежцы оказались за одним столом с Юрием Васильевичем Бондаревым, его супругой и издателем двухтомного собрания сочинений Е.А. Исаева Геннадием Александровичем Лебедевым...»

— Посмотри, какие живые глаза у него! — несколько раз окликал жену именитый прозаик и показывал на меня».

Этот «непротокольный» отклик живого классика не мог не запомниться автору «исаевского» эссе «Непротокольный человек». Но кто-то, возможно, усомнится: а

стоило ли его приводить, обнародовать? Похвала ведь.

А я вот думаю, что автор все сделал правильно: такая изюминка никак не должна была затеряться. К тому же похвала похвале рознь. Мы ведь, люди творческие, — такие, знаете ли, привередливые ребята! Иной раз и хвалят тебя, эпитетами, как золотыми блестками, с головы до ног осыпают, а на душе пасмурно, тускло. Потому как знаешь, чувствуешь: не твое это все, не о тебе — так, мишура-полова. А тут — точнейшее попадание: и как чисто визуальное впечатление, и как исполненная нелукавого смысла метафора.

Для меня этот отклик недавно ушедшего от нас выдающегося русского писателя (Царствие ему Небесное) стал ключом к книге публицистики известного поэта, моего литературного товарища с давних университетских времен Ивана Щёлокова. Потому что именно их, эти самые живые глаза, вижу пред собой я, читатель, — о чем бы ни шла речь, каких бы сложных, трудных (и даже «скучных») тем ни касался автор.

Название книге дало эссе с литературно-краеведческим подзаголовком «Воронежские страницы в кавказских скитаниях М.Ю. Лермонтова». О характере этого текста, казалось бы, исчерпывающе говорят по-ученому сухие, верные исторической точности ключевые фразы, вроде этих:

*«Лермонтов трижды проезжал на Кавказ через воронежский край»;*

*«А деревню Семидубравное Землянского уезда Воронежской губернии в годы советской власти переименовали в Новую Покровку Семилукского района. Вряд ли теперь различит ухо среди земных звуков этого селения мелодию «Казачьей колыбельной песни», которую Лермонтов написал здесь, в степной глуши, когда гостил в имении Потаповых...»*

Однако на самом деле текст этот, по фактологии не уступающий серьезному специальному исследованию, — вовсе не научный труд, а живой, не скованный литературно-историческими условностями взгляд на минувшее как на нечто неходящее, длящееся, способное и сегодня стать переживанием, сердечной болью, частью личной судьбы. Настрой на именно такое восприятие дают уже первые строки — своего рода поэтический зачин повествования:

*«Ненастное летнее утро. Только что закончился короткий, не по-июльски тихий и мелкий дождь. Чуть прояснилось, и по небу даже не плывут, а нехотя передвигаются густые, не сплошные, а разорванные небесной десницей тучи. Серебристо-свинцовые, причудливо-вихрастые... Я провожаю их взглядом, и неожиданно из глубины сердца всплывает величественно-грустная музыка строк:*

Тучки небесные, вечные странники,  
Степь лазурною, цепью жемчужною...

*И моя фантазия несет меня вслед за лермонтовскими тучами по просторам воображения».*

Фантазия здесь, в тексте, который уже подзаголовком своим присягнул исторической достоверности, — не вольность ли непозволительная? Полноте, господа литературные аптекари! Мы же не микстуру от несварения желудка составляем, а русский дух, душу русскую постичь пытаемся...

Именно фантазия находит эту музыку, этот сквозной образ, который становится нитью, сшивающей события-времена, дает ощущение единого воздуха, утраченного простора русской поэзии. Ведь эссе — это такой необычный жанр, в котором воображение, авторское «я» — как дрогнувший в нетерпении воздух, как рванувшийся из-за холмов вечности навстречу читателю взволнованный ветер; нельзя без него обойтись, ну никак нельзя, понимаете?

Ветер со-чувствия, со-переживания, со-причастности. Не меняя исторического рельефа, он сдувает с минувшего архивную пыль, возвращает ему движение и дыхание, возвращает — желание жить...

*«А фантазию уже не остановить... Время перепуталось, границы стерты... Поток чувств, перемешиваясь с дождевыми струями, несет в прошлое. Туда, туда, почти на два века назад, к Лермонтову. Он уже здесь, на подступах к нашему городу... Он — тучка. Он — вечный странник на русской земле, изгнанный из привычного окружения.*

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,  
С милого севера в сторону южную...»

Разве не любопытно вам, уважаемый читатель, встретить, увидеть, узнать такого вот Лермонтова — воронежского?

И в эссе «Здесь, однако, пробудем два дни...», где речь снова идет о литературных и социальных реалиях двухвековой давности, автор предстает перед нами не дотошным архивистом, а, скорее, тонким и глубоким собеседником-полемистом, равнодушным и редким современником — одновременно и героя текста, и читателя.

Отправная точка этого повествования вполне себе приземленно-бытовая — поломка экипажа молодого дипломата, следующего из столицы в сентябре 1818 года через Воронеж на Кавказ и далее в Персию, к месту службы. Зовут его Александр Грибоедов. Он известен как человек незаурядный, наделенный многими талантами, но русская словесность не спешит встречать его на городской заставе цветами и ковровой дорожкой. Причина проста: она пока еще просто не знает, что этот насмешливый молодой интеллектуал, ерник и остроумец, что-то там в рифму порой кропающий, — без пяти минут классический русский поэт. Ну, без пяти лет, что в историческом контексте одно и то же. А он, замысливший произведение поистине небывалое, дерзкое — и уже отчасти замысел свой осуществивший! — даже не пытается представиться ей в новом качестве. Почему?

Иван Щёлоков, незримо войдя в гостевой домик поэта, пытается ответить на этот вопрос. И помогает ему в этом сам поэт, который в письме к своему другу

Семену Бегичеву не только говорит о дорожных впечатлениях, но и куда более значимых подробностей жизни своей не скрывает. В частности, вспоминает (похоже, крепко засела в его сердце эта заноза!) и такую: «...однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь КokoшкИным и ему подобными...»

Да, дела! — если уж матушка такое говорит... А что же скажет «почтеннейшая» светская публика и прежде прочих те, кто узнает себя в образах Фамусова, Скалозуба, Молчалина? Что скажут литераторы, особенно первый и лучший из них — не КokoшкИн (чур меня, чур!), а Пушкин? Нет, числить себя по ведомству русской литературы рано, неловко. Над комедией, наброски которой сделаны два года назад, еще работать и работать!

Автор эссе понимает своего героя, сочувствует ему: «Грибоедов хотел было написать Бегичеву о своих мыслях, но, заложник дорожной поломки, можно сказать, невольный воронежский пленник, он крайне раздосадован дорожными неурядицами, с трудом сдерживает себя, какие тут откровения. Да и не время пока. Новые грани и повороты будущей комедии в минуты воронежских раздумий еще туманны, как приречная пелена за окном гостиничного двора».

Разумеется, текст эссе выходит далеко за пределы воронежского дорожного приключения Александра Сергеевича Грибоедова. Очень неожиданно — не «школьно», не «иконно» — выглядит в восприятии И. Щёлокова главный герой комедии Чацкий: «Понятно, что автор списывал его с себя. Связывал с ним надежды на перемены в обществе, на рождение идеала человека. Однако его ожидания и чаянья не оправдались. Сам того не желая, поэт выпустил джина из бутылки — и ни одна последующая эпоха не смогла отправить его обратно в этот сосуд».

Перекидывая мостик в современность, автор эссе представляет летящими по современной автомагистрали к югу «сотни нынешних прототипов» героев Грибоедова. И среди них Чацкий — «не на самой дорогой, демократичной модели, скорее, седане. Как правило, либерал-западник, толерантнейшая на словах, разумеется, личность. В натуре же, получи власть, рука не дрогнет, чтобы огнем и железом по-необольшевиcтски выжечь из любого соотечественника патриотическую дурь».

Вы, уважаемый читатель, узнаете отринувшего свой хрестоматийный образ литературного героя, его современное воплощение? Я так сначала только головой покрутил. А потом задумался — и все думаю, думаю... Но взгляд, согласитесь, свежий, незашоренный, не правда ли? Интересный, небанальный взгляд...

Написал Иван Щёлоков и о своем родном селе. Очерк называется «Два берега, две веры». Название удачное, в нем есть интрига, но читатель-скептик тут же найдет возражения: «Очерк-то краеведческий: даты, цифры, справки, всякие там замшелые ревизские сказки. Какая тут может быть интрига? Просто история одного из воронежских сел под названием Красный Лог».

Подзаголовок, не соглашаясь, сразу уточнит: не «просто» история, а «с авторскими отступлениями и размышлениями».

А уж как сам текст со скептиком тем не согласен...

Нет, без архивной пыли и по-прокурорски суровоглазых исторических фактов ему, конечно, обойтись не удалось, но... Оказывается, здесь, на берегу небольшой степной речки Красной по высочайшему повелению императрицы Екатерины II селились в свое время люди из разных мест, и так вышло, что «на левом берегу... исконно проживали староверы, а на правом — мирские». Влияло ли это обстоятельство на жизнь села, на людские судьбы? Еще как! Автор очень убедительно

показал нам это на примере своей семьи: «Моя мама пережила не одну минуту душевных мук и нравоучительных порицаний по поводу своего увлечения моим будущим отцом. Дело в том, что она из старообрядческой семьи, росла на левом берегу речки. Отец — из мирских, жил на противоположенной стороне. Пригласились, полюбили друг друга. Когда решили пожениться, мамы родители упорствовали, упрекали ее за выбор в спутники жизни “иритика”, “сторонского”».

В конечном счете глубокое взаимное чувство победило религиозную рознь, однако «разные берега» и в семейной жизни аукались. Вот и своего первенца Ивана родители крестили дважды: отец открыто, в православной церкви, а мать тайком, у местного староверского попа Артюшки. Вспору душещипательный сериал с мамой. А кто-то там еще и губы кривил — дескать, скучное краеведческое чтиво...

И много еще мы прочтем в этом объемном, потребовавшем большой подготовительной работы очерке такого «личного», что неотделимо от истории родного села автора: и о сорванном при помощи гусеничного трактора в начале шестидесятых годов с купола заброшенной церкви кресте, и о соседе-знахаре, «колдуне» Ворожее, и о печали речки Красной с ее заросшими камышом, бездумно распаханными чуть ли не до воды берегами и давно отоснившимися ледоходами. Спасибо автору за то, что все это уже не уйдет бесследно, останется — и с его земляками, «староверами и мирскими», и со всеми нами, читателями. И будет волновать, звать в минуту тихую нашу память — и будить смутную вину: а мы-то с вами вот так о своей малой родине не написали. Не смогли. Или — не захотели?

Книга, о которой идет речь в этих заметках, разнопланова жанрово и тематически, по-хорошему многозвучна — как сказал бы искушенный в литературно-критических материях человек, полифонична. На ее страницах «портрет» известного всему миру журналиста и писателя Василия Михайловича Пескова соседствует с «портретом молодой воронежской поэзии второго десятилетия 2000-х годов»; разговор о публицистике курянина Николая Гребнева не отвлекает от размышлений о пейзажной живописи воронежца Сергея Гулевского; согретый благодарным теплом рассказ об учителе, докторе филологических наук Викторе Михайловиче Акаткине, перекликается с исповедальным словом о газете «Молодой коммунар», где автор состоялся как журналист и не только: чтобы возглавлять областную комсомольскую газету в «сломные» времена, нужно было выковать в себе стальной характер.

И все это смотрится-читается... нет, не органично, больно уж близко это мудреное слово, а — неотстраненно как-то, неотчужденно, с волнующим чувством сопричастности, узнавания. Будто идешь по деревенской улице после долгой разлуки, идешь неторопливо, с остановками — столько встреч, столько глаз, тянущихся тебе навстречу, узнающих, ни радости, ни скорби от тебя, земляка, не тающих...

Понимаю, что образ деревенской улицы как символ изначального, детством заповеданного непоказного человеческого родства уходит в прошлое. Можно было бы и что-то другое подобрать, поярче, посовременнее, но мне кажется, что без этого сравнения мои заметки были бы не совсем полными. Ведь именно деревенская улица воспитала, подняла, вывела автора книги «Вечные странники» к тем степным холмам, с которых, оказывается, если глядеть взволнованно и зорко, — вся Россия видна. И он, Иван Щёлоков, рано оставшийся без отца, помогавший матери поднимать младших братьев, сам «сделавший себя» и ставший известным поэтом и публицистом, улицу эту помнит. Может, потому-то и глаза его, несмотря на долгие годы жизни городской, так часто официально-суетной, чиновничье-кабинетной, не остыли, не подернулись пленкой обывательского безразличия, остались живыми.